Дневник Анны Франк

Анна Франк

SHOUT
SHARE
IT

- Дневник Анны Франк
  -

Дневник Анны Франк

12 июня 1942 г.

Надеюсь, что я все смогу доверить тебе, как никому до сих пор не доверяла, надеюсь, что ты будешь для меня огромной поддержкой.

Воскресенье, 14 июня 1942 г.

В пятницу я проснулась уже в шесть часов. И вполне понятно – был мой день рождения. Но мне, конечно, нельзя было вставать в такую рань, пришлось сдерживать любопытство до без четверти семь. Но больше я не вытерпела, пошла в столовую, там меня встретил Маврик, наш котенок, и стал ко мне ласкаться.

В семь я побежала к папе с мамой, потом мы все пошли в гостиную и там стали развязывать и разглядывать подарки. Тебя, мой дневник, я увидела сразу, это был самый лучший подарок. Еще мне подарили букет роз, кактус и срезанные пионы. Это были первые цветы, потом принесли еще много.

Папа и мама накупили мне кучу подарков, а друзья просто задарили меня. Я получила книгу «Камера обскура», настольную игру, много сластей, головоломку, брошку, «Голландские сказки и легенды» Йозефа Козна и еще дивную книжку – «Дэзи едет в горы», и деньги. Я на них купила «Мифы Древней Греции и Рима» – чудесные!

Потом за мной зашла Лиз, и мы пошли в школу. Я угостила учителей и весь свой класс конфетами, потом начались уроки.

Пока все! Как я рада, что ты у меня есть!

Суббота, 20 июня 1942 г.

Несколько дней я не писала, хотелось серьезно обдумать – зачем вообще нужен дневник? У меня странное чувство – я буду вести дневник! И не только потому, что я никогда не занималась «писательством». Мне кажется, что потом и мне, и вообще всем не интересно будет читать излияния тринадцатилетней школьницы. Но не в этом дело. Мне просто хочется писать, а главное, хочется высказать все, что у меня на душе.

«Бумага все стерпит». Так я часто думала в грустные дни, когда сидела, положив голову на руки, и не знала, куда деваться. То мне хотелось сидеть дома, то куда-нибудь пойти, и я так и не двигалась с места и все думала. Да, бумага все стерпит! Я никому не собираюсь показывать эту тетрадь в толстом переплете с высокопарным названием «Дневник», а если уж покажу, так настоящему другу или настоящей подруге, другим это

неинтересно. Вот я и сказала главное, почему я хочу вести дневник: потому что у меня нет настоящей подруги!

Надо объяснить, иначе никто не поймет, почему тринадцатилетняя девочка чувствует себя такой одинокой. Конечно, это не совсем так. У меня чудные, добрые родители, шестнадцатилетняя сестра и, наверно, не меньше тридцати знакомых или так называемых друзей. У меня уйма поклонников, они глаз с меня не сводят, а на уроках даже ловят в зеркальце мою улыбку.

У меня много родственников, чудные дяди и тети, дома у нас уютно, в сущности, у меня есть все – кроме подруги! Со всеми моими знакомыми можно только шалить и дурачиться, болтать о всяких пустяках. Откровенно поговорить мне не с кем, и я вся, как наглухо застегнутая. Может быть, мне самой надо быть доверчивее, но тут ничего не поделаешь, жаль, что так выходит.

Вот зачем мне нужен дневник. Но для того чтобы у меня перед глазами была настоящая подруга, о которой я так давно мечтаю, я не буду записывать в дневник одни только голые факты, как делают все, я хочу, чтобы эта тетрадка сама стала мне подругой – и эту подругу будут звать Китти!

Никто ничего не поймет, если вдруг, ни с того ни с сего, начать переписку с Китти, поэтому расскажу сначала свою биографию, хотя мне это и не очень интересно.

Когда мои родители поженились, папе было 36 лет, а маме – 25. Моя сестра Марго родилась в 1926 году во Франкфурте-на-Майне, а 12 июня 1929 года появилась я. Мы евреи, и поэтому нам пришлось в 1933 году эмигрировать в Голландию, где мой отец стал одним из директоров акционерного общества «Травис». Эта организация связана с фирмой «Колен и Ко», которая помещается в том же здании.

У нас в жизни было много тревог – как и у всех: наши родные остались в Германии, и гитлеровцы их преследовали. После погромов 1938 года оба маминых брата бежали в Америку, а бабушка приехала к нам. Ей тогда было семьдесят три года. После сорокового года жизнь пошла трудная. Сначала война, потом капитуляция, потом немецкая оккупация. И тут начались наши страдания. Вводились новые законы, одни строже другого, особенно плохо приходилось евреям. Евреи должны были носить желтую звезду, сдать велосипеды, евреям запрещалось ездить в трамвае, не говоря уж об автомобилях. Покупки можно было делать только от трех до пяти и притом в специальных еврейских лавках. После восьми вечера нельзя было выходить на улицу и даже сидеть в саду или на балконе. Нельзя было ходить в кино, в театр – никаких развлечений! Запрещалось заниматься

плаванием, играть в хоккей или в теннис, – словом, спорт тоже был под запретом. Евреям нельзя было ходить в гости к христианам, еврейских детей перевели в еврейские школы. Ограничений становилось все больше и больше.

Вся наша жизнь проходит в страхе. Йоппи всегда говорит: «Боюсь за что-нибудь браться – а вдруг это запрещено?»

В январе этого года умерла бабуся. Никто не знает, как я ее любила и как мне ее не хватает.

С 1934 года меня отдали в детский сад при школе Монтессорн, а потом я осталась в этой школе. В последний год моей классной воспитательницей была наша начальница госпожа К. В конце года мы с ней трогательно прощались и обе плакали навзрыд. С 1941 года мы с Марго поступили в еврейскую гимназию: она – в четвертый, а я – в первый класс.

Пока что нам, четверым, живется неплохо. Вот я и подошла к сегодняшнему дню и числу.

Среда, 8 июля 1942 г.

Милая Китти!

Между воскресным утром и сегодняшним днем как будто прошли целые годы. Столько всего случилось, как будто земля перевернулась! Но, Китти, как видишь, я еще живу, а это, по словам папы, – самое главное.

Да, я живу, только не спрашивай, как и где. Наверное, ты меня сегодня совсем не понимаешь. Придется сначала рассказать тебе все, что произошло в воскресенье.

В три часа – Гарри только что ушел и хотел скоро вернуться – вдруг раздался звонок. Я ничего не слыхала, уютно лежала в качалке на веранде и читала. Вдруг в дверях показалась испуганная Марго. «Анна, отцу прислали повестку из гестапо, – шепнула она. – Мама уже побежала к ван Даану». (Ван Даан – хороший знакомый отца и его сослуживец.)

Я страшно перепугалась. Повестка... все знают, что это значит: концлагерь... Передо мной мелькнули тюремные камеры – неужели мы позволим забрать отца! «Нельзя его пускать!» – решительно сказала Марго. Мы сидели с ней в гостиной и ждали маму. Мама пошла к ван Даанам, надо решить – уходить ли нам завтра в убежище. Ван Дааны тоже уйдут с нами – нас будет семеро. Мы сидели молча, говорить ни о чем не могли. Мысль об отце, который ничего не подозревает, пошел навестить своих подопечных в еврейской богадельне, ожидание, жара, страх – мы совсем онемели.

Вдруг звонок. «Это Гарри!» – сказала я. «Не открывай!» – удержала меня Марго, но страх оказался напрасным: мы

услыхали голоса мамы и господина Даана, они разговаривали с Гарри. Потом он ушел, а они вошли в дом и заперли за собой двери. При каждом звонке Марго или я прокрадывались вниз и смотрели – не отец ли это. Решили никого другого не впускать.

Нас выслали из комнаты. Ван Даан хотел поговорить с мамой наедине. Когда мы сидели в нашей комнате, Марго мне сказала, что повестка пришла не папе, а ей. Я еще больше испугалась и стала горько плакать. Марго всего шестнадцать лет. Неужели они хотят высылать таких девочек без родителей? Но, к счастью, она от нас не уйдет. Так сказала мама, и, наверно, отец тоже подготавливал меня к этому, когда говорил об убежище.

А какое убежище? Где мы спрячемся? В городе, в деревне, в каком-нибудь доме, в хижине – когда, как, где? Нельзя было задавать эти вопросы, но они у меня все время вертелись в голове.

Мы с Марго стали укладывать самое необходимое в наши школьные сумки. Первым делом я взяла эту тетрадку, потом что попало: бигуди, носовые платки, учебники, гребенку, старые письма. Я думала о том, как мы будем скрываться, и совала в сумку всякую ерунду. Но мне не жалко: воспоминания дороже платьев.

В пять часов наконец вернулся отец. Он позвонил господину Коопхойсу и попросил вечером зайти. Господин ван Даан пошел за Мип. Мип работает в конторе у отца с 1933 года, она стала нашим верным другом и ее новоиспеченный муж Хенк тоже. Она пришла, уложила башмаки, платья, пальто, немного белья и чулок в чемодан и обещала вечером опять зайти. Наконец у нас стало тихо. Есть никто не мог. Все еще было жарко и вообще как-то странно и непривычно.

Верхнюю комнату у нас снимает некий господин Гоудсмит, он разведен с женой, ему тридцать. Видно, в это воскресенье ему нечего было делать, он сидел у нас до десяти, и никак нельзя было его выжить.

В одиннадцать пришли Мип и Хенк ван Сантен. В чемодане Мип и в глубоких карманах ее мужа снова стали исчезать чулки, башмаки, книги и белье. В половине двенадцатого они ушли, тяжело нагруженные. Я устала до полусмерти, и, хотя я знала, что сплю последнюю ночь в своей кровати, я тут же заснула. В половине шестого утра меня разбудила мама. К счастью, было не так жарко, как в воскресенье. Весь день накрапывал теплый дождик. Мы все четверо столько на себя надели теплого, будто собирались ночевать в холодильнике. Но нам надо было взять с собой как можно больше одежды. В нашем положении никто не отважился бы идти по улице с тяжелым чемоданом. На мне было

две рубашки, две пары чулок, три пары трико и платье, а сверху – юбка, жакет, летнее пальто, потом мои лучшие туфли, ботики, платок, шапка и еще всякие платья и шарфы. Я уже дома чуть не задохнулась, но всем было не до этого.

Марго набила сумку учебниками, села на велосипед и поехала за Мип в неизвестную мне даль. Я еще не знала, в каком таинственном месте мы будем прятаться... В семь часов тридцать минут мы захлопнули за собой двери. Единственное существо, с которым я простилась, был Маврик, мой любимый котенок, его должны были приютить соседи. Об этом мы оставили записочку господину Гоудсмиту. На кухонном столе лежал фунт мяса для кота, в столовой не убрали со стола, постели мы не заправили. Все производило впечатление, будто мы бежали сломя голову. Но нам было безразлично, что скажут люди. Мы хотели только уйти и благополучно добраться до места. Завтра напишу еще!

Анна.

Пятница, 21 августа 1942 г.

Милая Китти!

Наше убежище стало настоящим тайником. Господину Кралеру пришла блестящая мысль – закрыть наглухо вход к нам сюда, на заднюю половину дома, потому что сейчас много обысков – ищут велосипеды. Выполнил этот план господин Воссен. Он сделал подвижную книжную полку, которая открывается в одну сторону, как дверь. Конечно, его пришлось «посвятить», и теперь он готов помочь нам во всем. Теперь, когда спускаешься вниз, нужно сначала нагнуться, а потом прыгнуть, так как ступенька снята. Через три дня мы все набили страшные шишки на лбу, потому что забывали нагнуться и стукались головой о низкую дверь. Теперь там приколочен валик, набитый стружкой. Не знаю, поможет ли!

Читаю я мало. Пока что я перезабыла многое, чему нас учили в школе. Жизнь тут однообразная. Мы с господином ван Дааном часто ссоримся. Конечно, Марго ему кажется куда милее. Мама обращается со мной, как с маленькой, а я этого не выношу. Петер тоже не стал приятнее. Он скучный, весь день валяется на кровати, иногда что-то мастерит, а потом опять спит. Такой тюфяк!

Анна.

Пятница, 9 октября 1942 г.

Милая Китти!

Сегодня у меня очень печальные и тяжелые вести. Многих евреев – наших друзей и знакомых – арестовали. Гестапо

обходится с ними ужасно. Их грузят в теплушки и отправляют в еврейский концлагерь Вестерборк. Это – страшное место. На тысячи человек не хватает ни умывалок, ни уборных. Говорят, что в бараках все спят вповалку: мужчины, женщины, дети. Убежать невозможно. Заключенных из лагеря сразу узнают по бритым головам, а многих и по типично еврейской внешности.

Если уж тут, в Голландии, так страшно, то какой ужас ждет их там, куда их высылают! Английское радио передает, что их ждут газовые камеры, и, может быть, это еще самый быстрый способ уничтожения. Мип рассказывает ужасные случаи, она сама в страшном волнении. Она ждала машину гестапо, которая собирает всех подряд. Старуха дрожала от страха. Зенитки гремели, лучи прожекторов шарили в темноте, эхо от грохота английских самолетов перекатывалось среди домов. Но Мип не решалась взять старуху к себе. Немцы за это карают очень сурово.

Элли тоже стала тихой и грустной. Ее друга отправили в Германию на принудительные работы. Она боится, чтобы его не убило при бомбежке. Английские летчики сбрасывают тонны бомб. Я считаю, что дурацкие шутки вроде: «Ну, вся тонна на него не свалится!» или «Одной бомбы тоже хватит!» – очень бестактны и глупы. И не только Дирк попал в беду, далеко нет. Каждый день увозят молодежь на принудительные работы. Некоторым удается удрать по дороге или скрыться заранее, но таких очень мало.

Моя печальная повесть еще не кончена. Знаешь ли ты, что такое заложники? Тут немцы придумали самую утонченную пытку. Это страшнее всего. Хватают без разбора ни в чем не повинных людей и держат в тюрьме. Если где-нибудь обнаруживают «саботаж» и виновника не находят, то имеется повод расстрелять нескольких заложников. И потом в газетах появляются предостережения. Что за народ эти немцы! И я тоже когда-то принадлежала к ним. Но Гитлер давно объявил нас лишенными гражданства. Да, большей вражды между такими немцами и евреями нигде на свете нет!

Среда, 13 января 1943 г.

Милая Китти!

Сегодня мы опять страшно расстроены, нельзя спокойно сидеть и работать. Происходит что-то ужасное. Днем и ночью несчастных людей увозят и не позволяют ничего брать с собой – только рюкзак и немного денег. Но и это у них тоже потом отнимают!

Семьи разлучают, отцов и матерей отрывают от детей. Бывает, что дети приходят домой из школы, а родителей нет, или жена уйдет за покупками и возвращается к опечатанной двери –

оказывается, всю семью увели!

И среди христиан растет тревога: молодежь, их сыновей, отсылают в Германию. Везде горе!

Каждую ночь сотни самолетов летят через Голландию бомбить немецкие города, каждый час в России и в Африке гибнут сотни людей. Весь земной шар сошел с ума, везде смерть и разрушение.

Конечно, союзники сейчас в лучшем положении, чем немцы, но конца все равно не видно.

Нам живется неплохо, лучше, чем миллионам других людей. Мы сидим спокойно, в безопасности, мы в состоянии строить планы на послевоенное время, мы даже можем радоваться новым платьям и книгам, а надо было бы думать, как приберечь каждый цент и не истратить его зря, потому что придется помогать другим и спасать всех, кого можно спасти.

Многие ребятишки бегают в одних тонких платьицах, в деревянных башмаках на босу ногу, без пальто, без перчаток, без шапок. В желудках у них пусто, они жуют репу, из холодных комнат выбегают на мокрые улицы, под дождь, ветер, потом приходят в сырую, нетопленую школу. Да, в Голландии дошло до того, что дети на улице выпрашивают у прохожих кусок хлеба! Я бы могла часами рассказывать, сколько горя принесла война, но мне от этого становится еще грустнее. Нам ничего не остается, как спокойно и стойко ждать, пока придет конец несчастьям. И все ждут – евреи, христиане, все народы, весь мир... А многие ждут смерти!

Анна.

Суббота, 30 января 1943 г.

Милая Китти!

Я вне себя от бешенства, но должна сдерживаться! Хочется топать ногами, орать, трясти маму за плечи – не знаю, что бы я ей сделала за эти злые слова, насмешливые взгляды, обвинения, которыми она меня осыпает, как стрелами из туго натянутого лука. Мне хочется крикнуть маме, Марго, Дусселю, даже отцу: оставьте меня, дайте мне вздохнуть спокойно! Неужели так и засыпать каждый вечер в слезах, на мокрой подушке, с опухшими глазами и тяжелой головой? Не трогайте меня, я хочу уйти от всех, уйти от жизни – это было бы самое лучшее! Но ничего не выходит. Они не знают, в каком я отчаянии. Они сами не понимают, какие раны они мне наносят.

А их сочувствие, их иронию я совсем не могу выносить! Хочется завыть во весь голос!

Стоит мне открыть рот – им уже кажется, что я наговорила

лишнего, стоит замолчать – им смешно, каждый мой ответ – дерзость, в каждой умной мысли – подвох, если я устала – значит, я лентяйка, если съела лишний кусок – эгоистка, я дура, я трусиха, я хитрая – словом, всего не перечесть. Целый день только и слышу, какое я невыносимое существо, и хотя я делаю вид, что мне смешно и вообще наплевать, то на самом деле мне это далеко не безразлично.

Я попросила бы господа бога сделать меня такой, чтобы никого не раздражать. Но из этого ничего не выйдет. Видно, такой я родилась, хотя я чувствую, что я вовсе не такая плохая. Они и не подозревают, как я стараюсь все делать хорошо. Я смеюсь вместе с ними, чтобы не показывать, как глубоко я страдаю. Сколько раз я заявляла маме, когда она несправедливо на меня нападала: «Мне безразлично, говори, что хочешь, только оставь меня в покое, все равно я неисправима!»

Тогда мне говорят, что я дерзкая, и дня два со мной не разговаривают, а потом вдруг все забывается и прощается. А я так не могу – один день быть с человеком страшно ласковой и милой, а на другой день его ненавидеть! Лучше выбрать «золотую середину», хотя ничего «золотого» я в ней не вижу! Лучше держать свои мысли при себе и ко всем относиться также пренебрежительно, как они относятся ко мне!

Если бы только удалось!

Анна.

Понедельник, 19 июля 1943 г.

Милая Китти!

В воскресенье сильно бомбили Амстердам-Норд. Разрушения, наверно, ужасные. Целые улицы превращены в груды щебня, и понадобится немало дней, чтобы пристроить всех, у кого разбомбило дома. Уже зарегистрировано 200 убитых и множество раненых. Больницы переполнены. Дети бродят по улицам, ищут под обломками отцов и матерей. Меня и сейчас бросает в холод, как только вспомню глухой гул и грохот, которые и нам грозили гибелью.

Анна.

Четверг, 11 ноября 1943 г.

ОДА МОЕЙ АВТОРУЧКЕ

(«Светлой памяти»)

Авторучка всегда была моим сотоварищем. Я очень ею дорожила, потому что у нее золотое перо, а я, по правде сказать, пишу хорошо только такими перьями. Моя ручка прожила длинную и интересную жизнь, о которой я и собираюсь сейчас

рассказать.

Мне было девять лет, когда моя ручка (тщательно упакованная в вату) прибыла к нам в ящичке с надписью «Без цены». Этот прекрасный подарок прислала моя милая бабушка – тогда она еще жила в Ахене. Я болела гриппом, лежала в постели, а на улице завывал февральский ветер. Чудесная ручка в красном кожаном футляре тут же была показана моим подругам и знакомым. Я, Анна Франк, стала гордой обладательницей авторучки!

Когда мне исполнилось десять лет, я получила разрешение брать ручку в школу, и учительница позволила мне пользоваться ею на уроках.

К сожалению, на следующий год мне пришлось оставлять свое сокровище дома, потому что классная наставница нашего шестого класса разрешала писать только школьными ручками.

Когда мне было двенадцать лет и я перешла в еврейскую гимназию, мне подарили новый футляр с отделением для карандаша и с шикарной застежкой на молнии.

Когда мне исполнилось тринадцать, ручка отправилась со мной в убежище и здесь была мне верной помощницей в переписке с тобой и в занятиях. Теперь мне уже четырнадцать, и моя ручка была со мной весь последний год моей жизни...

В пятницу вечером я вышла из своей комнаты в общую и хотела сесть за стол поработать. Но меня безжалостно прогнали, так как папа и Марго занимались латынью. Ручка так и осталась на столе... Анне же пришлось довольствоваться самым краешком стола, и она, тяжело вздыхая, принялась «тереть фасоль», то есть очищать заплесневелые коричневые фасолины.

Без четверти шесть я подмела пол и бросила мусор вместе с кожурой от фасоли прямо в печку. Сразу взмахнуло сильное пламя, и я очень обрадовалась, потому что огонь уже потухал, а тут вдруг снова вспыхнул. Между тем «латинисты» кончили свои дела, и теперь я могла сесть за стол и позаниматься. Но ручки моей нигде не было. Я обыскала все кругом, мне помогала Марго, потом к нам присоединилась мама, потом искали папа с Дусселем, но моя верная подружка исчезла бесследно.

«Возможно, она угодила в печку вместе с фасолью», – предположила Марго.

«Быть не может!» – ответила я. Но мою милую ручку так и не удалось обнаружить, и мы уже к вечеру решили, что она сгорела, тем более что пластмасса так хорошо горит. И верно, наша грустная догадка подтвердилась – на следующее утро папа нашел в зале наконечник. От золотого пера и следа не осталось. «Очевидно, оно расплавилось и смешалось с золой», – решил

папа. Но у меня есть одно утешение, хоть и очень слабое: ручка моя была предана кремации, чего я – когда-нибудь в будущем – желаю и себе!

Суббота, 27 ноября, 1943 г.

Милая Китти!

Вчера вечером, когда я уже засыпала, я вдруг явственно увидела Лиз.

Она стояла передо мной – оборванная, изнуренная, щеки ввалились. Ее большие глаза были обращены ко мне с укором, словно она хотела сказать: «Анна, зачем ты меня бросила? Помоги же мне! Выведи меня из этого ада!»

А я ничем не могу ей помочь, я должна сложа руки смотреть, как люди страдают и гибнут, и могу только молить бога, чтобы он уберег ее и дал нам снова свидеться. Почему мне представилась именно Лиз, а не кто-нибудь другой вполне понятно. Я судила о ней неверно, по-детски, я не понимала ее страхов. Она очень любила свою подругу и боялась, что хочу их поссорить. Ей было очень тяжело. Я-то знаю, мне это чувство хорошо знакомо!

Иногда я мельком думала о ней, но тут же из эгоизма уходила в свои радости и горести. Вела я себя ужасно, и теперь она стоит передо мной, бледная, грустная, и смотрит на меня умоляющими глазами... Если бы я могла хоть чем-нибудь ей помочь!

Господи, да как же это – у меня есть все, что угодно, а ее ждет такая страшная участь! Она ни чуть не меньше меня верила в бога и всегда всем хотела добра. Почему же мне суждено жить, а она, быть может, скоро умрет? В чем же разница между нами? Почему мы разлучены с ней?

Честно говоря, я не вспоминала о ней вот уже много месяцев – да, почти целый год. Не то чтобы совсем не вспоминала, а просто никогда не думала о ней, никогда не представляла ее себе такой, какой она явилась мне сейчас в своей страшной беде.

Ах, Лиз, надеюсь, что ты всегда будешь с нами, если только переживешь войну! Я бы сделала для тебя все на свете, все, что упустила...

Но когда я смогу ей помочь, она уже не будет нуждаться в моей помощи. Вспоминает ли она меня хоть изредка? И с каким чувством?

Господи, помоги ей, сделай так, чтобы она не чувствовала себя всеми покинутой. Пусть она знает, что я думаю о ней с состраданием и любовью. Может быть, это даст ей силы выдержать. Нет, не нужно больше о ней думать. Все время вижу ее перед собой. Ее огромные глаза так и стоят передо мной.

Запала ли вера глубоко в сердце Лиз или все это навязано ей старшими? Не знаю, никогда ее об этом не спрашивала. Лиз, милая Лиз, если бы можно было вернуть тебя, если бы я могла делить с тобой все, что у меня есть! Поздно, теперь я ничем не могу помочь, теперь нельзя исправить то, что упущено. Но я никогда ее не забуду, вечно буду за нее молиться!

Анна.

Пятница, 7 января, 1944 г.

Милая Китти!

Какая я глупая! Ни разу мне не пришло в голову рассказать тебе о себе и о всех моих поклонниках.

Когда я была совсем маленькая, чуть ли не в детском саду, мне очень нравился Карл Самсон. Отца у него не было, он жил с матерью у тетки. Сын тетки, его двоюродный брат Бобби, умный, стройный, темноволосый мальчик, нравился всем гораздо больше, чем маленький смешной толстячок Карл. Но я не обращала внимания на внешность и много лет дружила с Карлом. Мы с ним долго были самыми настоящими добрыми товарищами, но я ни в кого не влюблялась.

Потом на моем пути встал Петер, и первая детская влюбленность целиком захватила меня. Я ему тоже нравилась, и мы с ним были неразлучны целое лето. Я вижу нас вдвоем – мы бродим по улицам, держась за руки, он – в полотняном костюмчике, я – в летнем платьице.

После каникул он поступил в реальное, а я пошла в старший приготовительный класс. То он заходил за мной в школу, то я – за ним. Петер был очень красив – высокий, стройный, складный, со спокойным, серьезным и умным лицом. У него были темный волосы, румяные, загорелые щеки, чудесные карие глаза и тонкий нос. Особенно я любила, когда он смеялся. У него становился такой озорной, ребячливый вид.

На летние каникулы мы уехали. Когда мы вернулись, Петер переехал на другую квартиру и теперь жил рядом с одним мальчиком, он был гораздо старше Петера, но так с ним подружился, что водой не разольешь! Наверное, этот мальчик ему сказал, что я совсем мелюзга, и Петер перестал со мной дружить. Я так его любила, что сначала ни за что не могла с этим примириться, но потом поняла, что, если стану за ним бегать, меня будут дразнить «мальчишницей».

Шли годы. Петер дружил только с девочками своего возраста, а со мной даже не здоровался, но я никак не могла забыть его.

Когда я перешла в еврейскую гимназию, в меня влюбилось много мальчиков из моего класса. Мне было очень приятно, я

чувствовала себя польщенной, но в общем это меня не трогало.

Потом в меня безумно влюбился Гарри. Но, как я уже сказала, больше я никого не любила.

Как говорит пословица: «Время исцеляет все раны».

Так было и со мной. Но я воображала, что забыла Петера и что мне он совершенно безразличен. Но в моем подсознании прочно жила память о нем, и однажды пришлось себе сознаться: меня так мучила ревность к его знакомым девчонкам, что я нарочно старалась о нем не думать.

А сегодня утром мне стало ясно, что ничего не изменилось, наоборот: чем старше и взрослее я становилась, тем больше росла моя любовь. Теперь я понимаю, что Петер тогда считал меня ребенком, и все же мне было тяжко и горько, что он так быстро меня забыл. Я вижу его перед собой настолько отчетливо, что понимаю: никто другой так не будет заполнять мои мысли.

Сон совсем сбил меня с толку. Когда папа хотел поцеловать меня утром, я чуть не вскрикнула: «Ах, почему ты не Петер!» Все время думаю о нем, весь день твержу про себя: «О Петер, милый мой Петер!»

Кто же мне поможет? Хочется жить дальше и просить бога, чтобы он дал мне свидеться с Петером, когда я буду на свободе. Он по моим глазам узнает, что я чувствую, и скажет: «Ах, Анна, если бы я знал, я давно бы пришел к тебе!»

Однажды, когда мы с папой говорили о сексуальных вопросах, он сказал, будто я еще не могу понять, что такое «влечение». Но я знала, что понимаю, а уж теперь-то мне все понятно наверняка!

Нет для меня ничего дороже тебя, мой Петель!

Я посмотрелась в зеркало – у меня стало совсем другое лицо. Глаза глубокие, светлые, щеки порозовели, как никогда, и рот кажется нежнее. У меня счастливый вид, и все же в глазах у меня какая-то грусть, от которой гаснет улыбка на губах. Не могу я быть счастливой, потому что знаю – Петер сейчас обо мне не думает. Но я снова чувствую на себе взгляд его милых глаз и его прохладную, нежную щеку у моей щеки...

О Петель, Петель, как мне изгладить твой образ? Разве можно представить себе кого-нибудь на твоем месте? Какая жалкая подделка! Я так люблю тебя, что любовь не уменьшается в моем сердце, она хочет вырваться на волю, открыться во всей своей силе!

Неделю назад, нет, даже вчера, если бы меня кто-нибудь спросил, за кого я хотела бы выйти замуж, я сказала бы: «Не знаю». А теперь я готова крикнуть: «За Петера, только за Петера, я люблю его всем сердцем, всей душой, безгранично и все же не

хочу, чтобы он был слишком настойчив, нет, я позволю ему только коснуться моей щеки».

Я сидела сегодня на чердаке и думала о нем. И после короткого разговора мы оба начали плакать, и я снова почувствовала его губы, бесконечно ласковое прикосновение его щеки.

«О Петер, думай обо мне, приди ко мне, мой милый, милый Петер!»

Анна.

Суббота, 22 января 1944 г.

Милая Китти!

Объясни мне, пожалуйста, отчего большинство людей так боится открыть свой внутренний мир? Почему я веду себя в обществе совсем не так, как надо? Наверно, тут есть причины, знаю, но все же непонятно, что даже с самыми близкими людьми никогда не бываешь откровенной до конца.

У меня такое чувство, как будто после того сна я очень повзрослела, стала как-то больше «человеком». Ты, наверное, удивишься, если я тебе открою, что даже о ван Даанах я теперь сужу по-другому. Я смотрю на наши споры и стычки без прежнего предубеждения.

Отчего я так переменилась?

Видишь ли, я много думала о том, что отношения между нами могли бы сложиться совсем иначе, если бы моя мама была настоящей идеальной «мамочкой». Спору нет, фру ван Даан никак не назовешь человеком воспитанным. Но мне кажется, что можно было бы избежать половины этих вечных пререканий, если бы мама была более легким человеком и не обостряла отношения. У фру ван Даан есть свои положительные качества, с ней можно договориться. Несмотря на весь свой эгоизм, мелочность и сварливость, она легко идет на уступки, если ее не раздражать и не подзуживать. Правда, ее хватает ненадолго, но при некотором терпении можно с ней сладить. Надо только по-дружески, откровенно обсуждать вопросы о нашем воспитании, о баловстве, о еде и так далее. Тогда мы не стали бы выискивать друг у друга только плохие черты!

Знаю, знаю, что ты скажешь, Китти!

«Неужто это твои мысли, Анна? И это пишешь ты, ты, о которой „верхние“ говорили столько плохого? Ты, которая узнала столько несправедливости». Да, это пишу я! Хочу сама до всего докопаться, не желаю жить по старой пословице: «Как деды пели...» Нет, я буду изучать ван Даанов и выясню, что правда, а что преувеличение. А если я тоже разочаруюсь в них, тогда и

запою ту же песенку, что и мои родители. Но если «верхние» окажутся лучше, чем о них говорят, я постараюсь разрушить ложное представление, которое сложилось у моих родителей, а если не удастся, останусь при своем мнении и своем суждении. Буду пользоваться любым предлогом, чтобы говорить с фру ван Даан на разные темы, и не постесняюсь беспристрастно высказывать свое мнение. Не зря же меня зовут «фрейлейн Всезнайка».

Конечно, я не собираюсь идти против своего семейства, но сплетням я больше не верю! До сих пор я была твердо уверена, что во всем виноваты ван Дааны, но, наверное, часть вины лежит и на нас.

По сути дела мы, должно быть, всегда правы. Но от людей разумных – а мы себя причисляем к ним – все-таки надо ждать, что они смогут ужиться с самыми разными людьми. Надеюсь, что я проведу в жизнь то, в чем я теперь убеждена.

Анна.

Пятница, 18 февраля 1944 г.

Милая Китти!

Когда я подымаюсь наверх, я непременно стараюсь увидеть «его». Моя жизнь стала гораздо легче, в ней снова появился смысл, есть чему радоваться.

Хорошо, что «предмет» моих дружеских чувств всегда сидит дома и мне нечего бояться соперниц (кроме Марго). Не думай, что я влюблена, вовсе нет. Но у меня такое чувство, что между мной и Петером вырастает что-то очень хорошее, и наша дружба, наше доверие станут еще крепче. Как только появляется возможность, я бегу к нему. Теперь совсем не то, что раньше, когда он не знал, о чем со мной говорить. Он все говорит и говорит, даже когда я совсем собираюсь уходить.

Маме не очень нравится, что я так часто хожу наверх. Она говорит: «Не надоедай Петеру, оставь его в покое». Неужели она не понимает, что это совсем особенные, душевные переживания? Каждый раз, как я прихожу оттуда, непременно спросит, где я была. Терпеть этого не могу. Отвратительная привычка.

Анна.

Вторник, 7 марта 1944 г.

Милая Китти!

Когда я вспоминаю свою жизнь до 1942 года, мне все кажется ненастоящим. Ту жизнь вела совсем другая Анна, не та, которая здесь так поумнела. Да, чудесная была жизнь! Масса поклонников, двадцать подружек и знакомых, почти все учителя

любят, родители балуют напропалую, сколько угодно лакомств, денег – чего же еще?

Ты спросишь, как это я ухитрялась всех покорить? Когда Петер говорит, что во мне есть «обаяние», это не совсем верно. Учителям нравилась моя находчивость, мои остроумные замечания, веселая улыбка и критический взгляд на вещи – все это казалось им милым, забавным и занятным. Я была страшной «флиртушкой», кокетничала и веселилась. Но при этом у меня были и хорошие качества – прилежание, прямота, доброжелательность. Всем без различия я позволяла списывать у себя, никогда не воображала и всякие сласти раздавала направо и налево. Может быть, я стала бы высокомерной оттого, что мною все так восхищались? Может быть, даже лучше, что меня, так сказать, в разгаре праздника вдруг бросили в самую будничную жизнь, но прошло больше года, прежде чем я привыкла, что никто больше мною не восхищается.

Как меня называли в школе? Главной заводилой во всех проделках и проказах – всегда я была первая, никогда не ныла, не капризничала. Неудивительно, что каждому было приятно провожать меня в школу и оказывать мне тысячу знаков внимания.

Та Анна кажется мне очень славной, но поверхностной девочкой, с которой теперь у меня нет ничего общего. Петер очень правильно заметил: «Когда я тебя встречал раньше, ты вечно была окружена двумя-тремя мальчиками и целым выводком девочек, всегда ты смеялась, шалила, всегда была в центре».

Что же осталось от этой девочки? Конечно, я еще не разучилась смеяться, еще умею каждому ответить, умею так же хорошо – а может быть, еще лучше – разбираться в людях, умею кокетничать... если захочется. Конечно, мне бы хотелось еще хоть один вечер, хоть несколько дней или неделю прожить так весело, так беззаботно, как прежде, но я знаю, что к концу этой недели мне все так надоело бы, что я была бы благодарна первому встречному, который поговорил бы со мной всерьез. Не нужны мне поклонники – нужны друзья, не хочу, чтобы восхищались моей милой улыбкой, – хочу, чтобы меня ценили за внутреннюю сущность, за характер. Знаю отлично, что тогда круг знакомых станет гораздо уже. Но это не беда, лишь бы со мной остались несколько друзей, настоящих, искренних друзей!

Однако я в то время не всегда была безмятежно счастлива. Часто я чувствовала себя одинокой, но так как была занята с утра до вечера, то думать об этом было некогда и я веселилась вовсю. Сознательно или бессознательно, но я старалась шуткой заполнить пустоту. Теперь я оглядываюсь на свою прошлую жизнь

и берусь за работу. Целый кусок жизни безвозвратно ушел. Беспечные, беззаботные школьные дни никогда не вернуться.

Да я и не скучаю по той жизни, я выросла из нее. Я уже не умею так беспечно веселиться, всегда в глубине души я остаюсь серьезной.

Свою жизнь до начала 1944 года я вижу, словно сквозь увеличительное стекло. Дома – солнечная жизнь, потом – в 1942 году – переезд сюда, резкая перемена, ссоры, обвинения. Я не могла сразу переварить эту перемену, она меня сшибла с ног, и я держалась и сопротивлялась только дерзостью.

Первая половина 1943 года: вечные слезы, одиночество, постепенное понимание своих ошибок и недостатков, и в самом деле очень больших, хотя они кажутся еще больше.

Я старалась все объяснить, пробовала перетянуть Пима на свою сторону – это не вышло. И мне пришлось одной решать трудную задачу: так перестроиться, чтобы не слышать вечных наставлений, которые доводили меня почти до отчаяния.

Вторая половина года сложилась лучше: я выросла, со мной стали уже чаще общаться как со взрослой. Я больше думала, начала писать рассказы и пришла к заключению, что никто не имеет права бросаться мною, как мячиком. Я хотела формировать свой характер сама, по своей воле. И еще одно: я поняла, что отец не во всем может быть моим поверенным. Никому не стану доверять больше, чем самой себе.

После Нового года – вторая большая перемена – мой сон... После него я поняла свою тоску по другу: не по девочке-подруге, а по другу-мальчику. Я открыла счастье внутри себя, обнаружила, что мое легкомыслие и веселость – только защитный панцирь. Постепенно я стала спокойнее и почувствовала безграничную тягу к добру, к красоте.

И вечером, лежа в постели, когда я заканчиваю молитву словами: «Благодарю тебя за все хорошее, милое и прекрасное», – во мне все ликует. Я вспоминаю все «хорошее»: наше спасение, мое выздоровление, потом все «милое»: Петера и то робкое, нежное, до чего мы оба еще боимся дотронуться, то, что еще придет, – любовь, страсть, счастье. А потом вспоминаю все «прекрасное», оно – во всем мире, в природе, в искусстве, в красоте, – во всем, что прекрасно и величественно

Тогда я думаю не о горе, а о том чудесном, что существует помимо него. Вот в чем основное различие между мной и мамой. Когда человек в тоске, она ему советует: «Думайте о том, сколько на свете горя, и будьте благодарны, что вам это не приходится переживать».

А я советую другое: «Иди в поле, на волю, на солнце, иди на

волю, пытайся найти счастье в себе, в боге. Думай о том прекрасном, что творится в твоей душе и вокруг тебя, и будь счастлив».

По моему мнению, мамин совет неправилен. А если у тебя самого несчастье, что же тогда делать? Тогда ты пропал. А я считаю, что всегда остается прекрасное: природа, солнце, свобода, то, что у тебя в душе. За это надо держаться, тогда ты найдешь себя, найдешь бога, тогда ты все выдержишь.

А тот, кто сам счастлив, может дать счастье и другим. Тот, в ком есть мужество и стойкость, тот никогда не сдается и в несчастье!

Анна.

Суббота, 1 апреля 1944 г.

Милая Китти!

И все же мне очень трудно. Ты понимаешь, о чем я? Я тоскую о поцелуе, о том поцелуе, которого так долго приходится ждать. Неужели он смотрит на меня только как на товарища? Неужели я для него не стану чем-то большим? Ты знаешь, да я и сама знаю, что я сильная, что почти все трудности я могу нести одна, и что я не привыкла их с кем-нибудь делить. За свою мать я никогда не цеплялась. А теперь мне так хочется положить ему голову на плечо и просто затихнуть!

Никогда, никогда я не забуду, как во сне я почувствовала щеку Петера и какое это было удивительное, прекрасное чувство! Неужели он этого не хочет? Может быть, только застенчивость мешает ему признаться в любви? Но почему же ему так хочется, чтобы я всегда была около него? Ах, почему он ничего не скажет? Нет, больше не буду, постараюсь быть спокойной. Надо оставаться сильной, надо терпеливо ждать – и все сбудется. Но... но вот что самое плохое: выходит так, будто я за ним бегаю, потому что всегда я хожу за ним наверх, а не он приходит ко мне. Но ведь это зависит только от расположения наших комнат, он должен это понять! Ох, многое, очень много ему еще надо понять!

Анна.

Четверг, 6 апреля 1944 г.

Милая Китти!

Ты спросила меня, чем я больше всего интересуюсь, чем увлекаюсь, и я отвечаю тебе. Не пугайся, у меня этих интересов тьма-тьмущая!

На первом месте стоит литература, но это, в сущности, нельзя назвать просто увлечением.

Во-вторых, я интересуюсь родословными королевских домов.

Из газет, книг и журналов я собрала материал о французских, немецких, испанских, английских, австрийских, русских, норвежских и нидерландских царствующих домах и много уже систематизировала, потому что я давно делаю выписки из всех биографических и исторических книг, которые читаю. Я даже переписываю целые отрывки из истории. Значит, история – мое третье увлечение; папа мне покупал много исторических книг. Не дождусь дня, когда я сама опять смогу рыться в публичной библиотеке.

В-четвертых, я интересуюсь греческой и римской мифологией, и у меня по этому предмету тоже есть много книжек. Потом я увлекаюсь собиранием портретов кинозвезд и фамильных фотографий. Я обожаю книги, чтение и интересуюсь всем, что касается писателей, поэтов и художников, а также историей искусств. Может быть, позже начну увлекаться и музыкой. С определенной антипатией я отношусь к алгебре, геометрии и арифметике. Все остальные школьные предметы я люблю, но историю больше всего!

Анна.

Воскресенье утром, около одиннадцати, 16 апреля 1944 г.

Милая Китти!

Запомни навсегда вчерашний день – его нельзя забыть, потому что он самый важный день в моей жизни. Да и для всякой девушки тот день, когда ее впервые поцеловали, – самый важный день! Вот и у меня тоже. Тот раз, когда Брам поцеловал меня в правую щеку, не считается, и когда мистер Уокер поцеловал мне руку – тоже не в счет.

Слушай же, как меня впервые поцеловали.

Вчера вечером, часов в восемь, я сидела с Петером на его кушетке, и он обнял меня за плечи.

«Давай немножко подвинемся, – сказала я, – а то я все время стукаюсь головой о ящик».

Он отодвинулся почти в самый угол. Я просунула руку под его рукой и обхватила его, а он еще крепче обнял меня за плечи. Мы часто с ним сидели рядом, но никогда раньше мы не были так близко, как в этот вечер. Он так крепко привлек меня к себе, что мое сердце забилось у него на груди. Но потом стало еще лучше. Он все больше притягивал меня к себе, пока моя голова не склонилась к нему на плечо, а его голова приникла к моей. А когда я минут через пять опять села прямо, он быстро взял мою голову обеими руками и снова привлек меня к себе. Мне было так хорошо, так чудесно, я не могла сказать ни слова, только наслаждалась этой минутой. Он немного неловко погладил меня

по щеке, по плечу, играл моими локонами, и мы не шевелились, прижав головы друг к другу. Не могу описать тебе, Китти, чувство, которое меня переполняло! Я была счастлива, и он, мне кажется, тоже. В половине девятого мы встали, и Петер стал надевать гимнастические туфли, чтобы не топать при обходе дома. Я стояла рядом. Как это вдруг случилось, сама не знаю, но прежде чем сойти вниз, он поцеловал мои волосы где-то между левой щекой и ухом. Я сбежала вниз без оглядки и... мечтаю о сегодняшнем вечере.

Анна.

Среда, 19 апреля 1944 г.

Милый дружок!

Что может быть лучше на свете, чем смотреть из открытого окна на природу, слушать, как поют птицы, чувствовать солнце на щеках и, обняв милого мальчика, молча стоять, крепко прижавшись друг к другу? Не верю, что это плохо, от этой тишины на душе становится светло. Ах, если б только никто ее не нарушал – даже Муши!

Анна.

Пятница, 28 апреля 1944 г.

Милая Китти!

Никогда не забуду свой сон про Петера Васаеля. Стоит мне о нем подумать, как я опять чувствую его щеку у моей, опять испытываю это чудесное ощущение. С Петером (здешним) я тоже испытывала это ощущение, но не с такой силой... до вчерашнего дня, когда мы сидели на диванчике рядом, как всегда, крепко обнявшись. И вдруг та, прежняя Анна исчезла и появилась другая Анна. Та, другая Анна, в которой нет ни легкомыслия, ни веселости – она только хочет любить, хочет быть ласковой.

Я сидела, прижавшись к нему, и чувствовала, как переполняется сердце. Слезы подступили к глазам, покатились по лицу прямо на его куртку. Заметил ли он? Ни одним движением он себя не выдал. Чувствует ли он то, что чувствую я? Он не сказал почти ни слова. Знает ли он, что рядом с ним – две Анны? Сколько вопросов, а ответа нет!

В половине десятого я встала, подошла к окну, где мы всегда прощаемся. Я вся еще дрожала, я была той, другой Анной. Он подошел ко мне, я обхватила его шею руками и поцеловала в левую щеку. Но когда я хотела поцеловать его и в правую, мои губы встретились с его губами. В смятении мы прижались губами еще раз, еще и еще, без конца!

Как Петер нуждается в ласке! Впервые он открыл, что такое

девушка, впервые понял, что у этих «бесенят» тоже есть сердце, что они совсем другие, когда остаешься с ними наедине. Впервые в жизни он отдал свою дружбу, всего себя – ведь у него никогда в жизни не было друга, не было подруги. Теперь мы нашли друг друга. Я тоже не знала его, у меня тоже не было любимого, а теперь есть.

Но меня непрестанно мучит вопрос: «Хорошо ли это, правильно ли, что я так поддаюсь, что во мне столько же пылкости, как в Петере? Можно ли мне, девушке, так давать себе волю?»

И на это есть только один ответ:

«Я так тосковала, так долго тосковала, я была так одинока – и вот я нашла утешение и радость!» Утром мы такие, как всегда, и днем тоже, но вечером уже ничем не удержать нашей тяги друг к другу, нельзя не думать о блаженстве, о счастье каждой встречи. И тут мы принадлежим только самим себе. И каждый вечер после прощального поцелуя мне хочется уйти, уйти поскорее, чтобы не смотреть ему в глаза, бежать, бежать, остаться одной в темноте.

Но стоит мне спуститься на четырнадцать ступенек – и куда я попадаю! В ярко освещенную комнату, где разговаривают, смеются, начинают меня расспрашивать, – и мне надо отвечать так, чтобы никто ничего не заметил. Сердце у меня слишком переполнено, чтобы сразу стряхнуть все, что я испытала вчера вечером. Та нежная, кроткая Анна редко просыпается во мне, но тем труднее сразу выгнать ее за дверь. Петер глубоко задел меня, так глубоко, как никогда, никогда, разве только во сне! Петер захватил меня целиком, он вывернул все во мне наизнанку. Не мудрено, что после таких переживаний каждому человеку надо успокоиться, прийти в себя, восстановить внутреннее равновесие. О Петер, что ты со мной делаешь? Чего ты хочешь от меня? Что будет дальше? Ах, теперь я понимаю Элли, теперь, когда я все это испытываю сама, я понимаю ее сомнения. Если бы я была старше и он захотел на мне жениться – что ответила бы я ему? Анна, будь честной! Замуж за него ты бы не пошла, но и отказаться от него так трудно! Характер у Петера еще не установился, в нем слишком мало энергии, слишком мало мужества, силы. Он еще ребенок, душевно он ничуть не старше меня, и больше всего на свете он хочет покоя, хочет счастья.

Неужели мне всего четырнадцать лет? Неужели я просто глупая девчонка, школьница? Неужели я и вправду так неопытна во всем? Но у меня больше опыта, чем у других, я пережила то, что в моем возрасте редко кто переживет. Боюсь себя, боюсь, что слишком скоро поддамся страсти, а как я тогда буду вести себя с другими мальчиками? Ах, как мне трудно, как борются во мне

разум и сердце, как надо дать им волю – каждому в свой час! Но уверена ли я, что сумею правильно выбрать этот час?

Анна.

Вторник, 2 мая 1944 г.

Милая Китти!

В субботу вечером я спросила Петера, не рассказать ли папе о нас, и Петер, слегка помявшись, сказал, что это правильно. Я обрадовалась – еще одно доказательство его внутренней чистоты. Спустившись вниз, я сразу пошла с отцом за водой и уже на лестнице сказала ему:

«Папа, ты, конечно, понимаешь, что, когда мы с Петером вместе, мы не сидим на расстоянии метра друг от друга. По-твоему, это плохо?»

Отец ответил не сразу, а потом сказал:

«Нет, Анна, ничего плохого в этом нет, но все-таки тут, когда живешь в такой близости, надо быть осторожнее».

Он еще что-то говорил в таком же духе, и мы пошли наверх. А в воскресенье утром он позвал меня к себе и сказал:

«Анна, я еще раз все обдумал (тут я испугалась). Собственно говоря, здесь, в убежище, это не совсем хорошо. Я-то считал, что вы с Петером просто товарищи. Петер в тебя влюблен?»

«Ни капельки!» – сказала я.

«Видишь ли Анна, ты знаешь, что я вас отлично понимаю, но ты должна быть сдержаннее, не слишком поощрять его. Не ходи наверх так часто. Мужчина в этих отношениях всегда активнее, женщина должна его сдерживать. Там, на свободе, дело другое. Там ты встречаешься с другими мальчиками и девочками, можешь гулять, заниматься спортом, вообще чем угодно. Но если вы тут слишком много времени будете проводить вместе, а потом тебе это перестанет нравиться, все будет гораздо сложнее. Вы же и так все время видите друг друга, почти постоянно. Будь осторожнее, Анна, не принимай ваши отношения всерьез».

«Да я и не принимаю, папа. И потом Петер – очень порядочный, хороший мальчик».

«Да, но характер у него неустойчивый, на него легко повлиять и в хорошую, и в дурную сторону. Надеюсь, ради него самого, что он останется хорошим, потому что в основном он порядочный человек».

Мы еще поговорили и условились, что отец поговорит и с Петером. В воскресенье, после обеда, когда мы сидели наверху, Петер спросил:

«А ты говорила с отцом, Анна?»

«Да, – сказала я, – я тебе все расскажу. Ничего плохого он не

видит, но считает, что здесь, где мы живем в такой тесноте, между нами легко может произойти размолвка».

«Но мы же условились – не ссориться, и я твердо решил, что так и будет».

«Я тоже, Петер, но отец думал, что у нас все по-другому, что мы просто товарищи. А по-твоему, этого уже не может быть?»

«По-моему, может. А по-твоему?»

«И по-моему, тоже. Я сказала отцу, что доверяю тебе. И я по-настоящему доверяю тебе, Петер, полностью доверяю, как папе, и я считаю, что ты достоин доверия, правда?»

«Надеюсь». (Тут он покраснел и смутился.)

«Я в тебя верю, верю, что у тебя хороший характер, что ты в жизни многого добьешься».

Мы говорили еще о многом другом, потом я сказала:

«Когда мы отсюда выйдем, тебе, наверное, и дела до меня не будет, правда?»

Он весь вспыхнул: «Нет, неправда, Анна! Ты не смеешь так обо мне думать!»

Тут меня позвали...

В понедельник Петер рассказал мне, что отец и с ним говорил.

«Твой отец считает, что из товарищеских отношений может вырасти влюбленность, но я ему сказал, что он может на нас положиться».

Теперь папа хочет, чтобы я меньше ходила по вечерам наверх, но я на это не согласна. И не только потому, что я люблю бывать у Петера, – я объяснила отцу, что доверяю Петеру. Да, я ему доверяю и хочу доказать это. А как же доказать, если я из недоверия буду сидеть внизу?

Нет, пойду к нему наверх!

Между тем драма с Дусселем кончилась. В субботу, за ужином, он произнес красивую, тщательно обдуманную речь по-голландски. Наверное, Дуссель весь день готовил этот «урок». Его день рождения мы отпраздновали в воскресенье, очень тихо. От нас он получил бутылку вина урожая 1919 года, от ван Даанов (теперь они уже могли сделать ему подарок!) он получил банку пикулей и пакетик бритвенных лезвий, от Кралера – лимонный джем, от Мип – книгу и от Элли – горшок цветов. Он всем нам выдал по вареному яйцу.

Анна.

Четверг, 25 мая 1944 г.

Милая Китти!

Каждый день что-нибудь случается! Сегодня утром

арестовали нашего славного зеленщика – он прятал у себя в доме двух евреев. Для нас это тяжелый удар, и не только потому, что эти евреи стоят на краю гибели: нам страшно за этого бедного человека.

Весь мир сошел с ума. Порядочных людей отправляют в концлагеря, в тюрьмы, в одиночки, а над старыми и молодыми, над богатыми и бедными измываются подонки. Одни попадаются на том, что покупали на черном рынке, другие – на том, что скрывали евреев или подпольщиков. Никто не знает, что его ждет завтра. И для нас арест зеленщика – тяжелая потеря. Наши девушки не могут, да и не должны сами таскать картошку, и нам остается только одно – есть поменьше. Как нам это удается – я тебе напишу, во всяком случае – удовольствие слабое. Мама говорит, что по утрам никакого завтрака не будет, за обедом – хлеб и каша, вечером – жареная картошка, иногда – раза два в неделю салат или немного овощей и больше ничего. Значит, придется поголодать, но все не так страшно, как если бы нас обнаружили.

Анна.

Милая Китти!

Прошел мой день рождения. Мне исполнилось пятнадцать лет. Получила довольно много подарков: пять томов истории искусства Шпрингера, гарнитур белья, два пояса, носовой платок, две бутылки кефира, банку джема, пряник, учебник ботаники – от мамы с папой, браслет от Марго, еще одну книжку от ван Даанов, коробку биомальца от Дусселя, всякие сладости и тетрадки от Мип и Элли и – самое лучшее – книгу «Мария-Тереза» и три ломтика настоящего сыра от Кралера. Петер подарил мне чудесный букетик роз, бедный мальчик так старался что-нибудь для меня раздобыть, но ничего не нашел.

Высадка союзников идет отлично, несмотря на дрянную погоду, страшные штормы и ливни в открытом море.

Черчилль, Смэтс, Эйзенхауэр и Арнольд вчера посетили французские деревни, которые заняты и освобождены англичанами. Черчилль прибыл на торпедном катере, который обстреляли с берега. У этого человека, как у многих мужчин, совсем нет чувства страха! Даже завидно!

Отсюда, из нашего убежища, никак нельзя разобрать, какое настроение в Нидерландах, никак не раскусить. Безусловно, люди рады, что «инертная» Англия наконец взялась за дело. Надо бы хорошенько встряхнуть каждого, кто свысока смотрит на англичан, ругает английское правительство «старыми барами», называет Англию трусливой и вместе с тем ненавидит немцев. Может быть, если этих людей потрясти, их запутанные мозги

снова встанут на место!

Анна.

Пятница, 21 июля 1944 г.

Милая Китти!

Опять проснулась надежда, опять наконец все хорошо! Да еще как хорошо! Невероятное известие! На Гитлера совершено покушение, и не каким-нибудь «еврейским коммунистом» или «английским капиталистом», нет, это сделал генерал благородных немецких кровей, граф, да к тому же и молодой! «Небесное провидение» спасло фюреру жизнь, и, к сожалению, он отделался царапинами и пустячными ожогами. Убито несколько офицеров и генералов из его свиты, другие ранены. Виновник расстрелян. Вот доказательство, что многие генералы и офицеры сыты войной по горло и с наслаждением отправили бы Гитлера в тартарары. Они стремятся основать после смерти Гитлера военную диктатуру, потом заключить мир с союзниками, снова вооружиться и через двадцать лет опять начать войну. А может быть, провидение нарочно немножко задержало уничтожение Гитлера, потому что для союзников гораздо удобнее и выгоднее, если «чистокровные» германцы передерутся между собой и уничтожат друг дружку, тогда русским и англичанам останется меньше работы и они тем скорее смогут начать отстраивать свои города. Но пока что до этого не дошло, и я не хочу предвосхищать блистательное будущее. Но ты, наверное, поняла, что все, о чем я рассказываю, – трезвые факты, они обеими ногами стоят на реальной почве. В виде исключения я тут ничего не приплетаю про «возвышенные идеалы».

Кроме того, Гитлер был так любезен, что сообщил своему любимому и преданному народу о том, что с сегодняшнего дня все военные подчинены гестапо и что каждый солдат, узнавший, что его командир принимал участие в «подлом и низком покушении», может без дальнейших околичностей пристрелить его.

Вот это будет история! У Ганса Дампфа заболели ноги от беготни, его командир на него наорал. Ганс хватает винтовку, кричит: «Ты хотел убить фюрера, вот тебе за это!» Залп – и высокомерный командир, осмелившийся кричать на бедного солдатика, перешел в вечную жизнь (или в вечную смерть – как это говориться?). Дойдет до того, что господа офицеры со страху наделают в штаны и будут бояться даже пикнуть перед солдатами.

Ты поняла или я опять наболтала бог весть что? Ничего не поделаешь, я слишком счастлива, чтобы писать связно, при одной

мысли, что в октябре я снова сяду за парту! О-ля-ля, да я сама только что писала: «Не хочу предвосхищать будущее!» Не сердись, не зря же меня называют «клубок противоречий»!

Анна.

Вторник, 1 августа 1944 г.

Милая Китти!

«Клубок противоречий»! Это последняя фраза последнего письма, и с нее начинаю сегодня. «Клубок противоречий» – ты можешь объяснить мне, что это значит? Что значит «противоречие»? Как многие другие слова, и это слово имеет двойной смысл: противоречие кому-нибудь и противоречие внутреннее?

Первый смысл обычно означает: «не признавать мнения других людей, считать, что ты лучше всех все знаешь, всегда оставлять за собой последнее слово», – в общем, все те неприятные качества, которые приписывают мне. А второе никому не известно, это – личная тайна.

Однажды я тебе рассказывала, что у меня, в сущности, не одна душа, а две. В одной таится моя необузданная веселость, ироническое отношение ко всему, жизнерадостность и главное мое свойство – ко всему относиться легко. Под этим я понимаю вот что: не придавать значения флирту, поцелую, объятию, двусмысленной шутке. И эта душа во мне всегда наготове, она вытесняет другую, более прекрасную, чистую и глубокую. Но ту, хорошую сторону Анны никто не знает, потому так мало людей меня терпит.

Да, конечно, я веселый клоун на один вечер, а потом целый месяц никому не нужна. Совсем как для серьезных людей любовный фильм: просто развлечение, отдых на часок, то, что сразу забываешь, ни хорошее, ни плохое. Мне немного неприятно рассказывать тебе это, но почему не сказать, раз это правда? Моя легкомысленная, поверхностная душа всегда одолевает ту, глубокую, побеждает ее. Ты не представляешь себе, как часто я пыталась отодвинуть, парализовать, скрыть эту Анну, которая в конце концов составляет только половину того, что зовется Анной, но ничего не выходит, и я знаю почему.

Я боюсь, что все, кто меня знает такой, какой я всегда бываю, вдруг обнаружат, что у меня есть и другая сторона, гораздо лучше, гораздо добрее. Я боюсь, что надо мной станут насмехаться, назовут меня смешной и сентиментальной, не примут меня всерьез. Я привыкла, что ко мне относятся несерьезно, но к этому привыкла только «легкая» Анна, она может это вынести, а другая, «серьезная», слишком для этого слаба. И

если я когда-нибудь насильно вытаскиваю «хорошую» Анну на сцену, она съеживается, как растение «не-тронь-меня», и как только ей надо заговорить, она выпускает вместо себя Анну номер один и исчезает, прежде чем я успеваю опомниться.

И выходит, что та, «милая» Анна никогда не появляется на людях, но когда я одна, она главенствует. Я точно знаю, какой мне хочется быть, какая я есть... в душе, но, к сожалению, я такая только для себя самой. И, может быть – нет, даже наверняка, – это причина, почему я считаю, что я по натуре глубокая и скрытная, а другие – что я общительная и поверхностная. Внутри мне всегда указывает путь та, «чистая» и «хорошая» Анна, а внешне я просто веселая козочка-попрыгунья.

И, как я уже говорила, я все чувствую не так, как говорю другим, поэтому обо мне и создалось мнение, что я бегаю за мальчишками, флиртую, всюду сую свой нос, зачитываюсь романами. И «веселая» Анна над этим смеется, дерзит, равнодушно пожимает плечами, делает вид, что ее это вовсе не касается. Но – увы! Та, другая, «тихая» Анна думает совсем иначе. И так как я с тобой абсолютно честна, то признаюсь: мне очень жаль, что я прилагаю неимоверные усилия, чтобы изменить себя, стать другой, но каждый раз мне приходится бороться с тем, что сильнее меня.

И все во мне плачет: "Видишь, вот что вышло: у тебя дурная репутация, вокруг – насмешливые или огорченные лица, людям ты несимпатична – а все из-за того, что ты не слушаешь советов своего лучшего "я". Ах, я бы и слушалась, но ничего не выходит: стоит мне стать серьезной и тихой, как все думают, что это притворство, и мне приходится спасаться шуткой. Я уж не говорю о своей семье, они сразу начинают подозревать, что я заболела, дают пилюли от головной боли, от нервов, щупают пульс и лоб – уж нет ли у меня жара, спрашивают, действовал ли желудок, а потом порицают меня за плохое настроение. И я не выдерживаю, я начинаю по настоящему капризничать, потом мне становится грустно, и наконец я выворачиваю сердце наизнанку, плохим наружу, а хорошим внутрь, и начинаю искать средства – стать такой, как мне хотелось бы, какой я могла бы стать, если бы... да, если бы не было на свете других людей...

Анна.

На этом дневник Анны обрывается.

4 августа «зеленая полиция» напала на «убежище», арестовала всех, кто там скрывался, вместе с Кралером и Коопхойсом, и увезла в немецкие и голландские концлагеря.

Гестапо разгромило «убежище». Среди старых книг, журналов

и газет, брошенных как попало, Мип и Элли нашли дневник Анны. Кроме нескольких страниц дневник был напечатан полностью.

Из всех скрывавшихся вернулся только отец Анны. Кралер и Коопхойе вынесли множество лишений в голландских лагерях и возвратились к своим семьям.

Анна умерла в марте 1945 года в концлагере Берген-Бельзен, за два месяца до освобождения Голландии.

По материалам журнала «МЫ».